

**Борис Горбатов**

## **Непокоренные (фрагмент)**

### **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

#### **1.**

Всё на восток, всё на восток... Хоть бы одна машина на запад!

Проходили обозы, повозки с сеном и пустыми патронными ящиками, санитарные двуколки, квадратные домики радиостанций; тяжело ступали заморенные кони; держась за лафеты пушек, брели серые от пыли солдаты - всё на восток, всё на восток, мимо Острой Могилы, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец... Проходили и исчезали без следа, словно их проглатывала зеленая и злая пыль.

А все вокруг было объято тревогой, наполнено криком и стоном, скрипом колес, скрежетом железа, хриплой руганью, воплями раненых, плачем детей, и казалось, сама дорога скрипит и стонет под колесами, мечется в испуге меж косогорами...

Только один человек у Острой Могилы был с виду спокоен в этот июльский день 1942 года - старый Тарас Яценко. Он стоял, грузно опершись на палку, и тяжелым, неподвижным взглядом смотрел на все, что творилось вокруг. Ни слова не произнес он за целый день. Потухшими глазами из-под седых насупленных бровей глядел он, как в тревоге корчится и мечется дорога. И со стороны казалось - был этот каменный человек равнодушно чужд всему, что свершалось.

Но, вероятно, среди всех мечущихся на дороге людей не было человека, у которого так бы металась, ныла и плакала душа, как у Тараса. "Что же это? Что ж это, товарищи - думал он. - А я? Как же я? Куда же я с бабами и малыми внучатами?"

Мимо него в облаках пыли проносились машины - всё на восток, всё на восток; пыль оседала на чахлые тополя, они становились серыми и тяжелыми.

"Что же мне делать? Стать на дороге и кричать, разметав руки: "Стойте! Куда же вы?.. Куда же вы уходите?" Упасть на колени середь дороги, в пыль, целовать сапоги бойцам, умолять: "Не уходите! Не смеете вы уходить, когда мы, старики и малые дети, остаемся тут...?"

А обозы всё шли и шли - всё на восток, всё на восток - по пыльной горбатой дороге, на Краснодон, на Каменск, за Северный Донец, за Дон, за Волгу.

Но пока тянулась по горбатой дороге ниточка обозов, в старом Тарасе все мерцала, все тлела надежда. Вдруг навстречу этому потоку людей откуда-то с востока, из облаков пыли появятся колонны, и бравые парни в могучих танках понесутся на запад, все сокрушая на своем пути. Только б тянулась ниточка, только б не иссякала... Но ниточка становилась все тоньше и тоньше. Вот оборвется она, и тогда... Но о том, что будет тогда, Тарас боялся и думать. На одном берегу останутся Тарас с немощными бабами и внучатами, а где-то на другом - Россия, и сыны, которые в армии, и все, чем жил и для чего жил шестьдесят долгих лет он, Тарас. Но об этом лучше не думать. Не думать, не слышать, не говорить.

Уже в сумерках вернулся Тарас к себе на Каменный Брод. Он прошел через весь город - и не узнал его. Город опустел и затих. Был он похож сейчас на квартиру, из которой поспешно выехали. Обрывки проводов болтались на телеграфных столбах. Было много битого стекла на улицах. Пахло гарью, и в воздухе тучей носился пепел сожженных бумаг и оседал на крыши.

Но в Каменном Броде все было, как всегда, тихо. Только соломенные крыши хат угрюмо нахохлились. Во дворах на веревках болталось белье. На белых рубахах пятна заката казались кровью. У соседа на крыльце раздували самовар, и в воздухе, пропахшем гарью и порохом, вдруг странно и сладко потянуло самоварным дымком. Словно не с Острой Могилы, а с работы, с завода возвращался старый Тарас. В палисадниках, навстречу сумеркам, распускались маттиолы - цветы, которые пахнут только вечером, цветы рабочих людей.

И, вдыхая эти с младенчества знакомые запахи, Тарас вдруг подумал остро и неожиданно: "А жить надо!.. Надо жить!" - и вошел к себе.

Навстречу ему молча бросилась вся семья. Он окинул ее широким взглядом - всех, от старухи жены Евфросиньи Карповны до маленькой Марийки, внучки, и понял: никого сейчас нет, никого у них сейчас нет на земле, кроме него, старого деда; он один отвечает перед миром и людьми за всю свою фамилию, за каждого из них, за их жизни и за их души.

Он поставил палку в угол на обычное место и сказал как мог бодрее:

- Ничего! Ничего! Будем жить. Как-нибудь...  
- и приказал запасти воды, закрыть ставни и запереть двери.

Потом взглянул на тринадцатилетнего внука Леньку и строго прибавил:

- И чтоб никто - никто!- не выходил на улицу без спросу!

Ночью началась канонада. Она продолжалась много часов подряд, и все это время ветхий домик в Каменном Броде дрожал, точно в ознобе. Тонко дребезжала железная крыша, жалобно стонали стекла. Потом канонада кончилась, и наступило самое страшное - тишина.

Откуда-то с улицы появился Ленька, без шапки, и испуганно закричал:

- Ой, диду! Немцы в городе!

Но Тарас, предупреждая крики и плач женщин, строго крикнул на него:

- Тсс! - и погрозил пальцем.  
- Нас это не касается!

## 2

Нас это не касается.

Двери были на запоре, ставни плотно закрыты. Дневной свет скупо струился сквозь щели и дрожал на полу. Ничего не было на земле - ни войны, ни немцев. Запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса.

Экономя лампадное масло, Евфросинья зажигала лампадку пред иконами только в сумерки и каждый раз вздыхала при этом: "Ты уж прости, господи!" Древние часы-ходики с портретом генерала Скобелева на коне медленно отстукивали время и, как раньше, отставали в сутки на полчаса. По утрам Тарас пальцем переводил стрелки. Все было как всегда - ни войны, ни немца.

Но весь домик был наполнен тревожными скрипами, вздохами, шорохами. Изо всех углов доносились до Тараса приглушенный шепот и сдавленные рыдания. Это Ленька приносил вести с улицы и шептался с женщинами по углам, чтоб дед не слышал. И Тарас делал вид, что ничего не слышит. Он хотел ничего не слышать, но не слышать не мог. Сквозь все щели ветхого домика

ползло ему в уши: расстреляли... замучили... угнали... И тогда он взрывался, появлялся на кухне и кричал, брызгая слюной:

- Цытьте вы, чертовы бабы! Кого убили? Кого расстреляли? Не нас ведь. Нас это не касается.  
- И, хлопнув дверь, уходил к себе.

Целые дни проводил он теперь один, у себя в комнате: строгал, пилил, клеил. Он привык всю жизнь мастерить вещи - паровозные колеса или ротные минометы, все равно. Он не мог жить без труда, как иной не может жить без табака. Труд был потребностью его души, привычкой, страстью. Но теперь никому не нужны были золотые руки Тараса, не для кого было мастерить колеса и минометы, а бесполезные вещи он делать не умел.

И тогда он придумал мастерить мундштуки, гребешки, зажигалки, иголки, старуха обменивала их на рынке на зерно. Ни печеного хлеба, ни муки в городе не было. На базаре продавалось только зерно - стаканами, как раньше семечки. Для размола этого зерна Тарас из доски, шестерни и вала смастерил ручную мельницу. "Агрегат! - горько усмехнулся он, оглядев свое творение. Поглядел бы ты на меня, инженер товарищ Кучай, поглядел бы, поплакали б вместе, на что моя старость и талант уходят". Он отдал мельницу старухе и сказал при этом: - Береги! Вернутся наши - покажем. В музей сдадим. В отделение пещерного века.

Единственным, что мастерил он со страстью и вдохновением, были замки и засовы. Каждый день придумывал он все более хитрые, все более замысловатые и надежные запоры на ставни, цепи, замки и щеколды на двери. Снимал вчерашние, устанавливал новые, пробовал, сомневался, изобретал другие. Он совершенствовал свою систему запоров, как бойцы в окопах совершенствуют оборону, - каждый день. Старуха собирала устаревшие замки и относила на базар. Раскупали моментально. Волчьей была жизнь, и каждый хотел надежнее запереться в своей берлоге.

И когда однажды вечером к Тарасу постучал сосед, Тарас долго и строго допытывался через дверь, что за человек пришел и по какому делу, и уж потом неохотно стал отпирать: со скрежетом открывались замки, со звоном падали цепи, со стуком отодвигались засовы.

- Дот, - сказал, войдя и поглядев на запоры, сосед.  
- Ну чисто дот, а не квартира у тебя, Тарас.

- Потом прошел в комнаты, поздоровался с женщинами.

- И гарнизон сурьезный. А этот, - указал он на Леньку, - в гарнизоне главный воин?

Соседа этого не любил Тарас. Сорок лет прожили рядом, крыша к крыше, сорок лет ссорились. Был он слишком боек, быстр, шумлив и многоречив для Тараса. Тарас любил людей медленных, степенных. А сейчас и вовсе не хотел видеть людей. О чем теперь толковать? Он вздохнул и приготовился слушать.

Но сосед уселся у стола и долго молчал. Видно, и его придавило, и он притих.

- Оборону занял, Тарас? - спросил он наконец.

Тарас молча пожал плечами.

- Ну-ну! Так и будешь сидеть в хате?

- Так и буду.

- Ну-ну! Так ты и живого немца не видел, Тарас?

- Нет. Не видел.

- Я видел. Не приведи бог и глядеть!

- Он махнул рукой и замолчал опять. Сидел, качал головой, сморкался.

- Полицейских полон город, - вдруг сказал он.

- Откуда и взялись! Все люди неизвестные. Мы и не видали таких.

- Нас это не касается, - пробурчал Тарас.

- Да... Я только говорю: подлых людей объявилось много.

- Думают, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу.

- Да...

И опять оба долго молчали. И оба думали об одном: как же жить? Что делать?

- Люди болтают, - тихо и нехотя произнес сосед, - немцы завод восстанавливать будут...

- Какой завод? - испуганно встрепенулся Тарас.

- Наш?

- Та наш же... Какой еще!

- Быть не может! Где же немец руки найдет?

- Тебя заставит.

-

Меня?

- Тарас медленно покачал головой.

- Моими руками завод строился, моими - разрушался. Не будет моих рук в этом деле. Нехай отсохнут лучше.

- Могут заставить, - тихо возразил сосед. Он поднялся с места, сгорбленный, старый, стал прощаться.

- Ну, бувай, Тарас. Живи. Сиди. Гарнизон у тебя сурьезный, - грустно пошутил он уже на пороге.

Тарас тщательно запер за ним двери - на все засовы, на все замки. "Нас это не касается!" - сказал он себе. Но это была неправда. Весть, принесенная соседом, слишком близко касалась его. Дверь запереть можно, душу как запрешь?

Семья и завод - вот чем была жизнь Тараса. Ничего больше не было. Семья и завод. Что же осталось? Семья? Где они, сыны мои, мои подмастерья? Нет сынов. Одни бабы остались. Сурьезный гарнизон. Завод? Где он, завод, цехи мои, мои ровесники? Нет завода. Развалины. Вороньи гнезда.

Что же осталось? Одна вера осталась. Моими руками строилось, моими рушилось, моими и возродится. Фашисты, как болезнь, как лихолетье, помучают и исчезнут. Это временное.

И сейчас впервые с ужасом подумал Тарас: "А что, как надолго?.." И тотчас же отбросил эту мысль. "Того быть не может!" Но она назойливо лезла в душу: "А что, как это навсегда? И завод задымит, как прежде? И, может, еще Гартман объявится или его наследники? И словно ничего не было - ни Клима, ни Пархоменко, ни Острой Могилы, ни эшелонной войны восемнадцатого, ни голодной ярости двадцать первого, ни штурмовых ночей тридцать первого?" Он ходил по комнате, думая все об одном и том же: "Неужели это навсегда? Неужели подлые руки найдутся?" И отвечал себе: "Может, найдутся, да не мои! Сыны мои в обороне не устояли. Я устою. Я дождусь". И он все ходил да ходил по комнате, и ветхие половицы тихо скрипели под его тяжелыми ногами. А с циферблата древних часов, из-под копыта коня генерала Скобелева, с тяжким стуком падали в вечность секунды, капля за каплей, капля за каплей...

### 3

Капля за каплей, капля за каплей...

Ровно в шесть часов утра пронзительно резко звенел будильник в комнате Тараса и будил его. Старик торопливо вскакивал и вспоминал: торопиться некуда. Но он вставал и первым делом сверял часы и переводил пальцем стрелки на ходиках,

отстающих на полчаса. Начинался день, а с ним и тревоги. И каждый новый день приносил новые тревоги.

Немцы объявили, что все работники бывших городских учреждений обязаны немедленно выйти на работу на свои места. Антонина, жена среднего сына Андрея, сказала об этом Тарасу. Но он только отмахнулся рукой.

- Нас это не касается!

- Но меня касается...

- робко возразила она. До немцев она была бухгалтером жилотдела.

- Не касается, не касается!

- свирепо закричал на нее Тарас и не стал больше слушать об этом.

Через несколько дней Антонина получила повестку. Городская управа строго предлагала ей явиться на работу. "Началось! - екнуло сердце Тараса. Подлых рук ищут!" Он отобрал у Антонины повестку, скомкал ее и выбросил.

- Не будет моя фамилия служить врагу! Не будет! - закричал он на Антонину, словно она во всем была виновата. - И тебе не позволю. И себе не позволю. Так и знай!

А еще через несколько дней домик в Каменном Броде затрясся от ударов в дверь. Пришла полиция. Запоры Тараса не помогли - пришлось отворять.

Они вошли в его дом как к себе в хату, прямо в комнаты, в шапках, в черных шинелях. На Тараса и не поглядели. Сели без спросу.

- Кто Антонина Яценко?

- Я, - дрожа всем телом, отозвалась Антонина.

- Паспорт!

Она отдала паспорт. Рыжий, кривой на один глаз полицейский взял паспорт и сунул его в карман. Потом молча встал и пошел к дверям.

- А паспорт? - кинулась к нему Антонина.

- Получишь на бирже.

Тарас, еле сдерживаясь от ярости, попробовал было вступить:

- Не знаю, как величать вас, господин...

Но полицейский сверкнул на него единственным глазом:

- Ты сюда не касайся, старик. Твой черед будет. Ты у меня на заметке! потом рванул дверь так, что замки и цепи загремели. - Ишь, запираются еще от власти! - и вышел.

Пять минут продолжалась эта сцена, а Тарасу показалось, словно двадцать пять лет. Словно отбросило его на двадцать пять лет назад, и опять ночные стуки в Каменном Броде, хриплые голоса через дверь: "Телеграмма!" - и бряцанье шашек о сапоги...

- А я думал, - сказал он, скривив губы и качая головой, - что так и умру, не услышав больше слова "полиция"...

Утром Антонина ушла за паспортом на биржу труда и вернулась только к вечеру. Тарас взглянул на нее и ни о чем не спросил. Спрашивать было нечего.

Антонина молча опустилась на лавку и словно застыла. Так сидела она в сумерках кухни, бессильно опустив руки, и молчала. Бабка Евфросинья подседа к ней.

- Били? - шепотом спросила она.

- Только что не били, а то всего было, - отозвалась Антонина.

- За всю жизнь на коленях наползалась.

- Отпросилась?

- От Германии отпросилась, а на службу - идти.

- Идти? - всплеснула руками бабка.

- Что старик скажет? Да ты б им, поганым, в рожу плюнула...

- Плюнешь! Как же! Кровью плюют на этой бирже люди. Сама видела. Нет, мама, не героиня я. Я ползала.

В эту ночь она плохо спала. Все чудились ей за стеной тяжелые шаги Тараса. "Ходит и ходит. Ходит и ходит, - мучалась она.

- Меня проклиняет". А потом мерещился Андрей, весь в крови; он глядел не на нее, а куда-то сквозь нее, словно была она пустая и прозрачная. Она падала на колени перед ним. "Никогда я тебе не изменяла, Андрей, ни душой, ни помыслом". Но он все глядел через нее и ничего не говорил, словно ее не было. А за дверью все звучали шаги Тараса и чей-то насмешливый голос дразнил: "Измена в твоём гарнизоне, Тарас! Измена!"

Утром, собираясь на службу, она старалась не встречаться глазами с Тарасом, но всюю кожей чувствовала, как он следит за ней. Следит молчаливым, тяжелым взглядом - никуда от него не скрыться.

И, уходя уже, взявшись рукой за щеколду двери, Антонина умоляюще произнесла:

Не судите меня, Тарас Андреич!.. Я... я не могу, когда бьют...



"Я не могу, когда бьют". Она жила теперь в вечном страхе и ожидании ударов. Каждый громкий окрик заставлял ее спину вздрагивать. Спина была сейчас самой чуткой частью ее тела. Все притупилось и одеревенело в ней. Только спина жила.

День на бирже труда лишь оглушил и растоптал ее, все остальное пришло потом.

Служба в жилотделе управы сначала успокоила ее. Работать никто не хотел. Сидели грызли семечки. Шелуху сплевывали в пустые ящики письменных столов.

- Плюйте, девочки, плюйте, - говорила им Зоя Яковлевна, главбух отдела.

- Только убедительно вас прошу, когда немец войдет, делайте вид, что вы работаете. Делайте вид, убедительно вас прошу.

Но появлялся комендант. Требовалось вставать и кланяться, и ждать, пока немец ответит кивком. Он медлил. Он нарочно медлил. Обводил ледяным взглядом спины, ждал, пока склонятся еще ниже.

- Ниже, ниже!  
- шептали Антонине подруги. Она не умела кланяться, она никогда не кланялась так. И спина ее начинала дрожать, ожидая удара.

У старика архитектора была одышка. Когда он склонялся в поклоне, кровь прилиwała к его дряблым щекам, и его начинал мучить кашель. Он давился им и склонялся еще ниже. "Когда-нибудь я так и умру!" - думал он при этом.

Наконец комендант отвечал небрежным кивком и проходил мимо, к себе. Антонина старалась не глядеть на подруг, подруги не глядели на нее. Старик архитектор грузно опускался на стул и принимался долго и мучительно кашлять.

Постепенно Антонина успокаивалась, только спина настороженно вздрагивала при каждом стуке дверей. "Только бы не били! Только бы не били!" Подруги успокаивали ее: "Дурочка, кто же станет нас бить? Мы же служащие городской управы". Городская управа казалась им убежищем.

Но однажды утром в жилотдел ворвался синий от злости немецкий лейтенант. Брызгая слюной, он кричал что-то бессвязное и все тыкал в свои часы. Инженер Марицкий попытался объясниться с ним. Дрожа всем телом, он бормотал, что через полчаса, всего через полчаса, рабочие придут на квартиру

господина лейтенанта и сложат печь. Он сам, инженер, придет и, если угодно, сам все сделает. Если он и опоздал на полчаса - всего на полчаса, господин лейтенант, - то только потому, что господин полковник приказал послать людей на его квартиру, а рабочих рук нет, и хотя мы объяснили господину полковнику, что господин лейтенант...

Лейтенант слушал его оправдания и медленно расстегивал свой поясной ремень. "Что он хочет делать? - удивлялась Антонина.

- Зачем он расстегивается?" - И вдруг услышала свист ремня в воздухе и крик. И тогда она сама закричала в ужасе и закрыла лицо руками. Ее спина мучительно заныла, словно это били ее. А в воздухе все свистел и свистел ремень и с тяжелым стуком падал на что-то мягкое.

Все, кто был в комнате, отвернулись или потупились, чтобы не видеть, как хлещут ремнем большого, взрослого, всем в городе известного человека. Было стыдно... Было невозможно смотреть. И только молоденькая Ниночка, счетовод, широко раскрытыми от удивления и ужаса глазами смотрела на эту сцену. Впервые в своей жизни видела она, как бьют человека.

А немец все продолжал и продолжал хлестать Марицкого ремнем, и теперь уже не со злобой, а методично, деловито, как машина, по лицу, плечам и спине. Инженер стоял перед ним согнувшись, большой, широкоплечий. Он не уклонялся от ударов, не кричал, не плакал. Он только втянул голову в плечи, съежился и старался руками закрыть лицо. Плечи его вздрагивали.

Странная тишина царила в комнате. Молчали люди у своих столов. Молча бил немец, молча принимал удары инженер. Страшное, постыдное молчание.

Потом немец спокойно и медленно надел ремень, одернул мундир и вышел. Все продолжали молча стоять у своих столов. Антонина плакала. Марицкий смущенно поднял глаза. Он попытался улыбнуться, чтобы скрыть смущение и боль, но мускулы его лица судорожно дрогнули, не выдержали, и вместо улыбки получилась жалкая, больная гримаса. Он закрыл лицо руками и разрыдался при всех.

С тех пор и стала вздрагивать спина Антонины при каждом громком окрике, при стуке дверей, при звоне шпор на лестнице. Она не ходила теперь по улицам, а шмыгала. Прижималась к

стенам. Боялась перекрестков. Она теперь всех боялась, даже Тараса. Ей было страшно в городе, вчера еще, до немцев, родном и веселом. Ей было страшно дома, вчера еще, до немцев, уютном и милым. Ей было страшно на земле.

Она плакала теперь часто и по всякому поводу. Плакала на службе, плакала дома, глядя на Марийку, дочку, плакала в постели, слыша шаги Тараса. Она подурнела и состарилась от слез. Боялась глядеться в зеркало. "Нельзя плакать! - убеждала она себя. - Я совсем стану старой. Как я покажусь Андрею, когда он вернется?" Но при мысли об Андрее она снова принималась плакать.

А за стеной всю ночь напролет шагал Тарас. Его шаги гулко отдавались в скрипучей тишине домика. "Все ходит и ходит. Все ходит и ходит. Меня прокликает".

Но Тарас теперь редко думал о ней.

## 5

Он думал теперь о Насте, о дочке. Он следил за нею тайком, исподлобья, острым, внимательным взглядом. Она удивленно спрашивала:

- Вы чего, папа?

- Ничего, - отвечал он и вздыхал.

Но какая-то тайная мысль мучила его, не давала покоя. Он спросил однажды жену, недовольно морщась:

- Не пойму я, мать, вроде наша Настька красивой стала? А?

- Хорошая, - гордо ответила Евфросинья.  
- И похвалить не грех хорошая.

- Да-да... - горько вздохнул Тарас.  
- И я гляжу...

В другой раз он спросил:

- А сколько ей лет... нашей Настьке-то?

- Восемнадцать, отец. Неужели забыл?

И опять он тяжело вздохнул.

- Да, восемнадцать, как забыть, помню. Ох-хо-хо!

Раньше Тарас и не замечал Насти среди других ребят, наполнявших дом. Своя и чужая детвора шумела и возилась во всех углах, он глядел только, чтоб его инструмента не касались. Всем остальным занимались школы да комсомолы. Дети росли,

стаптывали сапоги, сами находили свое счастье. А сейчас никого не было - ни комсомола, ни школы. Он был один, Тарас, - глава фамилии. И судья и учитель. Он один отвечал за души детей.

На беду, некстати, не ко времени вдруг расцвела и созрела в эту горькую весну Настя. Налилось весенним соком тело, стало упругим и жадным. Пришла ее пора любить, страдать, ждать своего девичьего счастья.

Какого счастья? У Тараса сердце ныло, когда он глядел на Настю. Ее дома не видно было и не слышно. Она ходила тихо, и работала тихо, и разговаривала тихо, больше молчала. Сядет у окошка, на лавку, и - молчит. Сидит и молчит. "Почему молчит?" - мучился он. Сидит и молчит. Сидит и молчит. И странно так, тяжело молчит, о своем думает. О чем? О каком счастье мечтает? Молчит все.

Он следил за каждым ее шагом.

- Не ходи на улицу, - строго говорил он, заметив, что она надевает платок.

- Хорошо, - покорно отвечала она, аккуратно складывала платок и садилась у окошка на лавку. А он ходил тяжелыми шагами по дому и мучился. Потом напускался на дочь.

- Ты чего сиднем сидишь? Пойди прогуляйся. Да старенькое платье надень, чего наряжаться не по времени!

И она покорно надевала старенькое, повязывала голову рваным платочком, обувала стоптанные туфли. Но и из этих обносков, всему наперекор, неукротимо и победно рвалась ее молодая краса. И Тарас тревожно вздыхал: "Вот до чего дожил! Красе родной дочери не рад!"

Но душа ее оставалась для него загадкой. "Что они за племя такое, что за народ эти молодые, нынешние?" Совсем он их не знал. Незнакомое племя. Но и не зная, он сомневался в них. "Где уж им! На папашины деньги учились, горя не видели, с Александром Яковлевичем Пархоменко в поход не хаживали, почем фунт лиха - не знают". И теперь он проклинал себя, что раньше детьми не занимался, и как с ними говорить - не знает, и как в их душу войти - не знает, а отвечать за них перед людьми и миром придется ему.

- Ты чего молчишь? Чего молчишь все? - крикнул он однажды на дочь.

Настя удивленно подняла глаза и, пожав плечами, ответила:

- А чего мне говорить, папа? Вы спрашивайте.

А он и не знал, о чем и как ее спросить. Он присматривался к Настиним подругам строго и придирчиво. Всякие были, хорошие и плохие. Но одну он люто невзлюбил, Лизку. Впрочем, она уже называла себя Луизой.

Когда Тарас впервые заметил и разглядел это взбалмошное существо, он от удивления даже рот раскрыл. И наряд на Луизе был какой-то пестрый, крикливый, и юбка выше колен, и прическа какая-то не русская - белобрысые локоны как-то смешно и нелепо скручены на лбу, - и все в ней было и не русское, и не немецкое, а какое-то обезьянье.

- Ты чья такая? - уставился на нее Тарас.

- Антона Лукича дочка... Луиза, - бойко ответила Лизка.

- Брысь, паскуда! - гаркнул Тарас.

- Вот я твоему отцу, старому дураку, скажу, чтоб он тебя выдрал.

- Но тотчас же опомнился и украдкой виновато глянул на Настю. Настя молчала. Тарас хлопнул дверью и вышел.

Луиза, однако, продолжала бывать в доме Тараса. Сначала она старика побаивалась, околачивалась где-то на кухне, поближе к порогу, разговаривала с женщинами шепотом и все поглядывала с опаской на двери Тараса, - ее самое еще смущали и наряд, и локоны; потом она осмелела, обнаглела даже. А однажды набралась храбрости и напустилась на Тараса:

- Вы что ж, Тарас Андреевич, Настю на улицу не пускаете? Ее дело молодое, ей гулять хочется.

Тараса чуть удар не хватил от бешенства. Но он сдержался. Подошел к Насте и посмотрел на нее грустным-грустным, долгим взглядом.

- Тебе гулять хочется, дочка? - спросил он ласково, так ласково, как никогда не говорил с ней, и голос его дрогнул.

Она удивленно подняла на отца глаза и тотчас же опустила их.

- Нет, папа.

- Слышишь? - обратился к Лизе Тарас.

- Не хочется ей гулять. Не такое, Лиза, время, чтоб гулять.

- Измена! - фыркнула Лизка.

- Измена, - так же коротко и серьезно ответил Тарас.

- Хуже измены. Вот умер бы у тебя отец, горе в доме, пошла б ты гулять? А у нас нынче в каждом доме - горе. Не до гулянок. Не простят нам наши, если мы гулять тут будем.

- Война все спишет!
- Нет! - убежденно покачал головой Тарас.
- Нет, врешь, Лиза. Не спишет. Все запишет война. Ничего не простит, ничего не забудет. Поимей это в виду, девушка! Вернутся наши, поставят нас перед собой и своими чистыми глазами в душу глянут. В самую душу. И все увидят: кто ждал, кто верил, а кто - продал, забыл. Когда ж они придут?

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.